

И. А. ГОНЧАРОВ И Н. М. КАРАМЗИН
(К вопросу о некоторых традициях)

Сближение имен И. А. Гончарова и Н. М. Карамзина кажется весьма естественным по многим причинам, однако до сих пор этот вопрос не ставился, не выявлены хотя бы приблизительно те принципы, в соответствии с которыми следует приступать к его исследованию. Известно лишь несколько отрывочных высказываний на данную тему. Наиболее замечательное из них принадлежит Р. В. Иванову-Разумнику: «Познакомившись с дядей Адуевым, вы невольно вспоминаете, что когда-то встречались с ним <...> Действительно, они существовали еще за пятьдесят лет до появления „Обыкновенной истории“ и являлись тогда под именем Леонида и Эраста, „чувствительного“ и „холодного“ — из рассказа такого названия Карамзина <...> Вспомните <...> мещанскую философию Леонида, который „стоял на том, что благоразумному человеку надобно в жизни заниматься делом“, который сыпал сентенциями совершенно во вкусе дяди-Адуева, в роде „служба есть у нас вернейший путь к уважению, а чины ходячая монета“ и т. п., который, наконец, женился совершенно, как дядя-Адуев».¹

Р. В. Иванову-Разумнику нельзя отказать в наблюдательности. Отождествляя позицию героя с позицией автора и потому явно ошибаясь в главном своем выводе — о «мещанстве» Гончарова, критик тем не менее прав в принципиальном сближении гончаровского романа с «чувствительным и холодным» Карамзина. Не случайно эта параллель будет впоследствии повторена в работах А. Г. Цейтлина² и Ю. В. Манна.³ В «Обыкновенной истории» карамзинский фон весьма ощутим. В письме Марьи Горбатовой, явно воспитанной на Карамзине, к Петру Ивановичу Адуеву легко отыскать не только романтические, но и доромантические штампы, имевшие хождение в русской провинции 30-х гг. XIX в.: «Кто та милая подруга, украсившая собою путь вашего бытия, назовите мне ее; я буду ее любить, как родную сестру, и в мечтах соединять образ ее с вашим, буду молиться <...> Сашенька <...> прижмет к груди обожаемого дядю, — а я, я в то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время <...> может быть, вы уже забыли нас, и где вам помнить бедную страдалицу, которая удалилась от света и льет слезы» и т. п. Недаром В. Сечкарев увидел в этом письме пародию на стиль «Николая Карамзина, наиболее яркого представителя русского сентиментализма».⁴

¹ *Иванов-Разумник* [Р. В.]. История русской общественной мысли. СПб., 1907. Т. 1. С. 175.

² *Цейтлин* А. Г. И. А. Гончаров. М., 1950.

³ *Манн* Ю. В. Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма. М., 1969.

⁴ *Setchkarev* V. Ivan Goncharov: His life and his works. Würzburg., 1974. P. 68.

В. Шкловский также упоминал о связи творчества Гончарова и Карамзина, имея в виду прежде всего «Записки русского путешественника» и «Фрегат „Паллада“»: «Имени Карамзина Гончаров не забывал никогда <...> Гончаров — человек, для которого Карамзин долго оставался живым литератором <...> О Карамзине нам напоминает описание природы с повторами и обращениями к читателю, ссылка на забытого Геснера (в описании Ликейских островов) и больше всего — внутренняя полемика с книгой знаменитого зачинателя русской прозы».⁵

Знакомство будущего романиста с произведениями Карамзина началось еще в раннем детстве. Этот факт отмечен в его автобиографиях, причем в одной из них имя Карамзина упоминается дважды. В период пребывания в пансионе священника Ф. С. Троицкого Гончаров читает исторические книги Карамзина, знакомится и с его поэзией, которая, судя по всему, не произвела на него большого впечатления. Нет сомнения и в том, что в это же время мальчик, буквально зачитывавшийся путешествиями (им были прочитаны книги Д. Кука, С. П. Крашенинникова и т. д.), не прошел мимо «Записок русского путешественника». Более глубокое осмысление творчества Карамзина происходит уже в Московском университете. Именно теперь Гончаров осознает, чем же прежде всего ему близок и дорог автор «Бедной Лизы». В автобиографии 1858 г. он акцентирует весьма важный момент: «Юношеское сердце искало между писателями симпатии и отдавалось тогда Карамзину по горячим его следам, может быть, не как историку, особенно потому, что кафедру истории занимал тогда Карамзин, и не как поэту, потому что Карамзин не был художник, но как гуманнейшему из писателей».⁶ Очевидно, что Гончаров выделил для себя карамзинскую прозу и публицистику. Значение этого признания трудно переоценить. В письме к А. Н. Пыпину от 10 мая 1874 г. романист вновь касается данной темы: «Про себя я могу сказать, что развитием моим и моего дарования я обязан прежде всего влиянию Карамзина, которого тогда еще только *начинали переставать* читать, но я и сверстники мои успели еще попасть под этот *конец*, но, конечно, с появлением Пушкина скоро отрезвлялись от манерности и сентиментальности французской школы (я говорю об искусстве), которой Карамзин был представителем. Но тем не менее моральное влияние Карамзина было огромно и благотворительно на все юношество» (VIII, 421).

Можно понять, о каком *моральном* влиянии говорит Гончаров. Карамзин дал гончаровскому поколению русских людей понятие о ценности человеческой личности, индивидуальности, о чувстве человеческого достоинства... Условно говоря, «западническое»

⁵ Шкловский В. Заметки о прозе русских классиков. М., 1955. С. 224—225.

⁶ Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 8. С. 222. Далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием тома (римской цифрой) и страницы (арабской).

отношение Гончарова к проблеме ценности человеческой личности, отстаивание самостоятельности и самоценности личности перед лицом более общих категорий (государство и т. д.), столь характерно выразившееся в статье «Нарушение воли», восходит именно к карамзинскому благотворному гуманистическому влиянию. Вернее, может быть, будет заметить, что Карамзин *первым* открыл Гончарову глаза на проблему самоценности человеческого «я». Впоследствии на это первое впечатление накладывались другие — вплоть до книги Д. Милля «О свободе», в защиту которой Гончаров выступил как цензор. Проблема настолько объемна, а следы «морального» влияния столь трудноуловимы, что в настоящей статье мы считаем возможным лишь упомянуть об этом вопросе в целом, главное внимание уделив частным его аспектам.

Если в «Обыкновенной истории» стиль Карамзина пародируется, то в «Обрыве», в истории любви Райского и Наташи, мы обнаруживаем переключку с историей «бедной Лизы», к которой Гончаров — как художник, испытывавший на протяжении всей своей творческой жизни пристальный интерес к женской теме, к теме любви, — проявил, несомненно, интерес. Райский, «воротясь домой после обеда в артистическом кругу», «нашел у себя на столе записку, в которой было сказано: „Навести меня, милый Борис: я умираю! . . . Твоя Наташа“» (V, 112).

Напомним, что в гончаровском романе в виде многих параллелей даны самые различные типы любви, сопоставляя которые писатель решает для себя важнейшие вопросы человеческой жизни, — не только частной, но и общественной. Нашлось место и для описания любви «по Карамзину». Все это не покажется странным, если учесть, что метод подобных ассоциативных параллелей вообще свойствен Гончарову. В романе «Обломов» Штольц в поисках «нормы любви» перебирает в памяти типы любовных отношений, сложившиеся в различные эпохи: «Он с улыбкой, то краснея, то нахмурившись, глядел на бесконечную вереницу героев и героинь любви: на донкихотов в стальных перчатках, на дам их мыслей, с пятидесятилетней взаимною верностью в разлуке; на пастушков с румяными лицами и простодушными глазами навывкате и на их Хлой с барашками. Являлись перед ним напудренные маркизы, в кружевах, с мерцающими умом глазами и с развратной улыбкой; потом застрелившиеся, повесившиеся и удавившиеся Вертеры; далее увядшие девы, с вечными слезами любви, с монастырем (этот тип представлен в образе Марьи Горбатовой с явным пародийным оттенком. — В. М.) < . . . > все, все!» (IV, 454).

При этом следует учесть и различия между карамзинским и гончаровским подходами к воплощению образа «бедной Лизы». Как поясняет в статье «Лучше поздно, чем никогда» сам Гончаров, кроткую, хрупкую Наташу «надломила и свела в могилу не одна обманутая любовь, но вообще суровое дыхание жизни» (VIII, 103). Характер Наташи задуман, как видим, с определенной коррективой по отношению к карамзинской героине: «Это райская птица,

которая и могла только жить в своем раю, под тропическим небом, под солнцем, без зим, без ветров, без хищных когтей» (VIII, 103).

Близка Гончарову и мысль, высказанная Карамзиным в статье «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени»: «Я послал бы всех роскошных людей на несколько времени в деревню, быть свидетелями трудных сельских работ и видеть, чего стоит каждый рубль крестьянину. . .»⁷ Разумеется, мысль эта слишком общая, однако похоже, что в «Обрыве» проявляются именно карамзинская ее постановка и стилистическая интерпретация. Райский упрекает Софью Беловодову: «Осмотрите около себя: около вас шелк, бархат, бронза, фарфор. Вы не знаете, как и откуда является готовый обед < . . . > А думаете ли вы иногда, откуда это все берется и кем доставляется вам? < . . . > А если бы вы знали, что там, в зной, жнет беременная баба < . . . > а ребятишек бросила дома < . . . > А муж ее бьется тут же, в бороздах на пашне, или тянется с обозом в трескучий мороз, чтоб добыть хлеба, буквально хлеба — утолить голод с семьей и, между прочим, внести в контору пять или десять рублей, которые потом приносят вам на подносе. . . Вы этого не знаете. . .» (V, 34—35).

Но дело даже не в конкретных параллелях, которые в конце концов могут оказаться и достаточно случайными. Дело, скорее, в специфике «гуманитета» обоих писателей. Думается, что те нравственные ценности, которые утверждал в течение всей своей жизни Карамзин как писатель и гражданин («человеческое достоинство, плод культуры, просвещенного самоуважения и внутренней свободы»),⁸ были созвучны либеральным мировоззренческим установкам Гончарова. Именно поэтому романист постоянно подчеркивает «гуманность» Карамзина. Для него она была явлением не только вчерашнего, но и сегодняшнего дня России, социальным инструментом, позволявшим решать проблемы современной русской жизни. Просветительство Гончарова по своим характерным особенностям чрезвычайно близко просветительству Карамзина.

23 ноября 1866 г. в газете А. А. Краевского «Голос» за подписью «Любитель литературы» появилась заметка Гончарова по поводу предстоявшего празднования юбилея Карамзина. В заметке Гончаров дал лаконичную, но весьма выразительную оценку деятельности писателя и историка, подчеркивая общенародное значение его юбилея.

Отметим, что не любящий необязательных сравнений романист посчитал возможным на этот раз сравнить юбилей Ломоносова с юбилеем Карамзина. Очевидно, он преодолевал определенный стереотип восприятия фигуры Карамзина — особенно со стороны тех кругов, которые считали, что юбилей получает «тенденциозно

⁷ Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 91.

⁸ Лотман Ю. М. «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Карамзина — памятник русской публицистики начала XIX века // Лит. учеба. 1988. № 4. С. 93.

охранительный характер».⁹ Гончаров не одобряет «известную публике программу торжества» и напоминает в этой связи о том, как прошел недавний юбилей тоже высоко им чтимого Ломоносова: «Скажут, что Карамзин не Ломоносов, он не начинатель великого дела просвещения в России <...> Так; но кому же, после Ломоносова, принадлежит большая доля деятельности в совершении подвига, начатого Ломоносовым, как не Карамзину, проводнику знания, возвышенных идей, благородных, нравственных, гуманных начал в массу общества, ближайшему, непосредственно действовавшему еще на живущие поколения двигателю просвещения?» (VIII, 207—208). Перед нами не набор эпитетов, а, как всегда у Гончарова, четко выверенная оценка. Называя Карамзина «проводником знания» и акцентируя его гуманизм, автор заметки подчеркивает и патриотизм, народность писателя и историка Карамзина. Отсюда и новый, весьма важный оттенок мысли: «На празднике в память Карамзину должна присутствовать вся наша наличная литература <...> значение и характер праздника требовали бы, чтоб большинство писателей, начиная с старейших до новейших, публично принесли каждый свою лепту в память нашего просветителя. Казалось бы справедливым, чтоб и на этом вечере, как на празднике Ломоносова, все присутствующие в городе литераторы столпились единодушно, забыв разность литературных эпох, направлений и оттенков. . .» (VIII, 208). В данном случае Гончаров выдвигает типично либералистское требование единства нации, наиболее выразительно сформулированное в его очерке «Литературный вечер», где старик Чешнев говорит: «...русский народ исполняет <...> свою великую и национальную и человеческую задачу и <...> в ней ровно и дружно работают все силы великого народа, от царя до пахаря и солдата! <...> Барин, мужик, купец — все идут на одну общую работу, на одно дело, на один труд, несут миллионы и копейки <...> Перед вами уже не графы, князья, военные или статские, не мещане или мужики — одна великая, будто из несокрушимой меди вылитая статуя — Россия!» (VII, 106). Юбилей Карамзина представлялся Гончарову удобным для подобного единения в силу не только масштаба фигуры Карамзина, но, и, главное, сугубо патриотического характера его деятельности на благо России. В статье «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств» Карамзин писал: «Во всех обширных странах российских надобно питать любовь к отечеству и чувство народное <...> Мне кажется, что я вижу, как народная гордость и славолюбие возрастают в России с новыми поколениями!»¹⁰ «Проводник знания» и патриот, издатель «Вестника Европы» и в то же время автор «Истории государства Российского», Карамзин представлялся Гончарову фигурой, идеально примиряющей современные противоречия русской жизни, —

⁹ Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. 4-е изд. СПб., 1908. С. 187.

¹⁰ Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 112—113.

в частности споры западников и славянофилов, которые писатель в конечном итоге считал не столь существенными, противопоставляя им идею «общей работы» единой России. В статье «Лучше поздно, чем никогда» он писал: «Все это, конечно, минует в будущем, хотя, может быть, и не очень близком» (VII, 116).

Либералу Гончарову, для которого требование единства нации ради «общего дела» отнюдь не означало подавление личностного начала, весьма импонировала позиция Карамзина, увидевшего, например, в деятельности Петра I существенные противоречия: «Петр осуществил необходимую государственную реформу, но превысил полномочия государственной власти, вторгшись в сферу частной жизни, в область личного достоинства отдельного человека».¹¹

Не настаивая на факте непосредственного, буквального влияния на Гончарова Карамзина-художника (вспомним слова романиста о том, что «Карамзин не был художник»), отметим все же и определенную близость их эстетических установок, выраставшую из близости мировоззренческой. Карамзин предвосхитил ведущие мотивы произведений Гончарова. «Сердечный» тип человеческого поведения, воплощенный в «чувствительном» Карамзина, явился как бы ответом писателя на проблемы, поставленные Просвещением, актуальные и для послекарамзинской эпохи. У Гончарова проблема разлада между «умом и сердцем» станет не только проблемой выбора между «чувствительным» и «холодным» (хотя этот пласт несомненно тоже наличествует в произведениях писателя), но и проблемой соотносительности в русской жизни борющихся социальных сущностей старого (патриархального) и нового (буржуазно-цивилизаторского). Карамзинский мотив «чувствительного» и «холодного» социально инструментирован уже в «Обыкновенной истории», а затем — в еще большей степени — в «Обломове».

И Карамзин, и Гончаров исходят из противопоставления двух очевидных крайностей в проявлениях «сердечного» и «головного» типов, видя свою задачу в поисках меры и должного синтеза. Оба они испытали определенное разочарование в рационализме, — и оба все-таки продолжали верить в целительную силу просветительства. Отсюда тяготение к диалектическому разрешению указанной дилеммы. При этом следует иметь в виду еще одно важное обстоятельство: культ «меры» унаследован обоими авторами от эстетики и философии античности, в которой и Карамзин, и Гончаров прекрасно ориентировались и на которую делали постоянные «отсылки» в своем творчестве (общность их пристрастий в этом плане — особый разговор). «Требование меры в <...> поведении <...> стало одной из основных нормативных установок античной этики. . .»¹² Поиск «меры обусловил в известной степени стремле-

¹¹ Лотман Ю. М. Указ. соч. С. 93.

¹² Гусейнов А. А., Иррилиц Г. Краткая история этики. М., 1987. С. 27. В «Никомаховой этике» Аристотель так определяет добродетель: «Нравствен-

ние обоих писателей к диалогичному построению конфликта («чувствительный» — «холодный», Мелодор — Филалет, Обломов — Штольц и т. д.). Уяснение же «меры» является одной из составляющих более общего процесса: соотношения и Карамзиным, и Гончаровым — как просветителями — «природы» и «цивилизации» в их размышлениях о путях исторического прогресса человечества. И здесь Гончаров воспринимает через Карамзина определенные традиции, восходящие к Ж. Ж. Руссо и другим мыслителям эпохи Просвещения.

Не случайно большую роль и у того и у другого играют одни и те же категории, лежащие в основе «терминологического комплекса» Просвещения, в частности категории «страсти» и «покоя». Тема страсти — «это великая тема, с блеском развитая Бруно, пробивавшаяся сквозь рационалистическую мудрость Спинозы, заполнившая творчество Руссо. . .»¹³

В работе «Об уме» Гельвеций писал: «Все же страсти, в которых следует видеть зародыш бесчисленных заблуждений, служат двигателями просвещения. Если же они и сбивают нас с пути, зато только они одни дают нам необходимую для движения вперед силу. Только они могут освободить нас от того бездействия и лени, которые всегда готовы овладеть всеми способностями нашей души».¹⁴ Ему вторит Карамзин в «Рыцаре нашего времени»: «Страсти, страсти! Как вы ни жестоки, как ни пагубны для нашего спокойствия, но без вас жизнь наша есть пресная вода».¹⁵ У Гончарова эта тема разработана глубже и подробнее, чем у Карамзина, — он учитывает уже и бесценный опыт «Старосветских помещиков» Н. В. Гоголя. Вот как описывает он нравы обломовцев: «Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют в нравах людей в том краю. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не было там; ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их» (IV, 106). Здесь в зерне дана вся концепция «страсти», пронизывающая роман Гончарова. С одной стороны, страсти — это грабежи, убийства, страшные случайности, или, по словам Гельвеция, «зародыш бесчисленных заблуждений». Но с другой — в духе философии Шефтсбери и Д. Бруно — это героический энтузиазм, «отважные предприятия». Философы Просвещения видели и понимали огромное значение идеала «страстного» («героического») человека для своего времени. Понимал это и Карамзин, ориентировавшийся и на ту линию английского просветительства, которая представлена именами Шефтсбери, Попа, Юнга, Томсона.¹⁶ Гончаров по-своему развивал идеал «страстной»

ная добродетель < . . . > состоит в обладании серединой и < . . . > между двумя видами порочности, один из которых — от избытка, а другой — от недостатка» (*Аристотель*. Собр. соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 87).

¹³ Гусейнов А. А., Ирраитц Г. Указ. соч. С. 390.

¹⁴ Гельвеций. Собр. соч.: В 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 159—160.

¹⁵ Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 758.

¹⁶ См.: Шефтсбери. Эстетические опыты. М., 1975. С. 520—512.

личности в образе Штольца, противопоставляя ему носителя философии «покая», «созерцания» — Илью Обломова.

Позиция Гончарова — позиция «меры» между «страстью» и «покоем». Образно говоря, это идеал страсти, направленной в спокойное русло. Разными путями приходят герои к одной и той же мысли. «Давать страсти законный исход, — думает Обломов, — указать порядок течения, как реке, для блага целого края, — это общечеловеческая задача. . .» Об идеале «меры» рассуждает и Штольц: «Он говорил, что „нормальное назначение человека — прожить четыре времени года, то есть четыре возраста, без скачков и донести сосуд жизни до последнего края, не пролив ни одной капли напрасно, и что ровное горение огня лучше бурных пожаров. . .“» (IV, 167). Сходство рассуждений Обломова и Штольца обусловлено идеалом самого автора романа. Обратим внимание на то, что их размышления весьма близко воспроизводят сказанное Карамзиным в эссе «О счастливейшем времени жизни»: «Дни цветущей юности и пылких наслаждений! Не могу жалеть о вас. Помню восторги, но помню и тоску свою; помню восторги, но не помню счастья: его не было в сей бурной стремительности чувств к беспрестанным наслаждениям, которые бывают мукою <. . .> не в летах кипения страстей, а в полном действии ума, в мирных трудах его, в тихих удовольствиях жизни единообразной, успокоенной, хотел бы я сказать солнцу: остановись!»¹⁷ Идеал «меры», «плавных переходов» в развитии жизни в значительной мере объединяет Карамзина и Гончарова, который в этом-то идеале, возможно, и усмотрел одну из граней «гуманности» Карамзина.

Обоих писателей объединяет и подход к проблеме прогресса человеческого общества. Карамзин, как позднее и Гончаров, не мог не испытывать определенных сомнений в просветительских установках. В письме Мелодора к Филалету просвещение не случайно названо «острым кинжалом в руках убийцы». Но все же автор остается на позициях исторического оптимизма: «. . . Бог, конечно, обратит все к цели общего блага».¹⁸ Этот же пафос пронизывает неопубликованное письмо Гончарова к А. Ф. Кони от 19 августа 1880 г.: «Можно было бы пасть подавленным этою скорбью, без веры в будущность человечества <. . .> Я верю <. . .> что мир цивилизованный не может погибнуть. . .»¹⁹ В «Необыкновенной истории» подобное же утверждение подкреплено, как и у Карамзина, ссылкой на провидение: «Я <. . .> удивляюсь тому, как при временных возмущениях могут сомневаться в светлой и чистой будущности человечества! Это значит — не верить в Провидение!» (VII, 404).

Этим объясняется и сходное отношение Карамзина и Гончарова к философии Руссо, идеи которого сыграли значительную роль в творчестве обоих художников. Им оказался близок прежде всего

¹⁷ Карамзин Н. М. Сочинения. СПб., 1835. Т. 8. С. 137—138.

¹⁸ Карамзин Н. М. Избранные сочинения и письма. Т. 1. С. 155.

¹⁹ ИРЛИ, 4904, 256, 67.

Руссо-гуманист, Руссо — художник и философ, исследующий «жизнь сердца». В значительной мере их творчество развивается в русле именно этой руссоистской традиции.²⁰

В то же время Карамзин в своем рассуждении «Нечто о науках, искусствах и просвещении» выступает против одного из важнейших тезисов французского философа, поставившего под сомнение пользу наук, искусств и пр. Как уже говорилось, несмотря на противоречивость прогресса, Карамзин признает не только его закономерную неизбежность, но и благотворность. То же самое можно сказать и о Гончарове. Автор «Фрегата „Паллада“» видит выход из противоречий современного общества не в понятном движении «назад к природе», а в «очеловечении» тех задач, которые стоят перед обществом, в «очеловечении» тех средств, с помощью которых эти задачи решаются. Весьма характерно его позиция выразилась в споре с книгой Г. Геденштра «Отрывки о Сибири» (СПб., 1830). Во «Фрегате „Паллада“» Гончаров пишет: «Автор берет пороки образованного общества, как будто неотъемлемую принадлежность просвещения, как будто и самое просвещение имеет недостатки: тщеславие, корысть, тонкий обман и т. п. Кажется, смешно и уверять, что эти пороки только обличают в человеческом обществе еще недостаток просвещения» (III, 398).

У лаконичного и весьма сдержанного Гончарова нет случайных высказываний, а тем более выступлений на ту или иную тему. Его статья о Карамзине в «Голосе», разумеется, не может восприниматься как «юбилейная» — особенно если учесть известную нелюбовь романиста ко всякого рода юбилейной суете. Она была призвана прежде всего решить практические задачи. Кроме того, в ней дана лаконичная, но емкая оценка всей деятельности Карамзина, который дорог не только русскому обществу в целом, но и лично Гончарову. Карамзин-гуманист оказался писателю, пожалуй, ближе других русских классиков XVIII в. Как человеку и художнику ему весьма импонировали «здравый смысл» и мудрость И. А. Крылова, которого он часто цитирует. Не случайно размышлял романист об истоках реалистического направления в творчестве Д. И. Фонвизина (в романе «Обломов» нетрудно разглядеть мотивы фонвизинского «Недоросля»). И все-таки именно гуманистический пафос творчества Карамзина, с его отстаиванием человеческой личности, оказал наиболее глубокое влияние на Гончарова. Влияние других авторов XVIII в. ощущается в частности, карамзинское — в главном и общем: «... Развитием моим и моего дарования я обязан прежде всего влиянию Карамзина...» (VIII, 329).

²⁰ См.: Мельник В. И. Философские мотивы в романе И. А. Гончарова «Обломов»: К вопросу о соотношении «социального» и «нравственного» // Рус. литература. 1982. № 3. С. 81—99.